

АЛЕКСАНДР
ВЕЛЬТМАН



ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

Александр Фомич Вельтман

Не дом, а игрушечка

Разносторонность интересов и дарований Александра Фомича Вельтмана, многогранность его деятельности поражала современников. Прозаик и поэт, историк и археолог, этнограф и языковед, директор Оружейной палаты, член-корреспондент Российской академии наук, он был добрым другом Пушкина, его произведения положительно оценивали Белинский и Чернышевский, о его творчестве с большой симпатией отзывались Достоевский и Толстой.

В настоящем сборнике представлены повести и рассказы бытового плана ("Аленушка", "Ольга"), романтического "бессарабского" цикла ("Урсул", "Радой", "Костештские скалы"), исторические, а также произведения критико-сатирической направленности ("Неистовый Роланд", "Приезжий из уезда"), перекликающиеся с произведениями Гоголя.

Содержание

I.....	.0004
II.....	.0012
III.....	.0018
IV.....	.0031
V.....	.0041
VI.....	.0049
VII.....	.0058
VIII.....	.0065
IX.....	.0070
X.....	.0075
Примечания.....	.0079

МЫ, люди, вообще многого не знаем, многого не видим, что около нас делается, не ведаем всего, что на свете есть и чего нет. Такова, верно, природа людей; в этом-то, может быть, и заключается сущность вела: видеть и в то же время не видеть, знать и в то же время не знать. Например, все знают, что Москва сгорела во время нашествия французов; а кто знает, что сгорело в ней кроме домов и кроме имущества жителей? Москва отстроилась на показ, на славу, стала великолепнее и в то же время грустнее, скучнее, — точно как будто внутренний свет, эта беззаботная веселость духа вылилась наружу и оставила сердце в потемках. — Что ему там делать? — Сидит себе ни гугу. Отчего это? — Оттого, что кроме зданий и имущества погорели в Москве старинные домовые.

Как это ни странно кажется теперь, но в старину было правдой. Старинный дедушка-домовой был не призрак, не привидение, не гороховое пугало, а вот что: как говорится, во время оно каждый родоначальник, укор-

няясь на новоселье, с каждым новым поколением принимал почетные звания отца, деда, прадеда, прапрадеда, все жил да жил и рос в землю; год от году все меньше и меньше и наконец хоть снова в колыбельку. Дадут ему с ложечки молочка, он и заснет спокойно; а вся семья ходит на цыпочках, чтоб не потревожить дедушкина дедушку. Достигнув до возраста семимесячного ребеночка, дедушка, проснувшись в последний раз, среди белого дня говорил: "Детушки, и на печке стало мне холодно, оденьте-ка меня в белый балахончик, укутайте да уложите в печурочку. Я сосну, а вы себе живите да поживайте, не заботьтесь обо мне, а поминать поминайте: пици мне не нужно, только в сорочины блинков напеките да крещенской водицы поставьте. Белого дня мне уже не вынести, а придет иное время — проснусь в ночку, посмотрю, сладок ли сон ваш. Мирно все будет, и я буду мирен; а как постучу, так смотрите, оглядывайтесь, помните, что дедушка стучит недаром. Ну, вот вам последнее слово:

держите совет и любовь".

Боясь дедушки-домового, все от старого до

малого свято исполняли его последнее слово. Им в семье хранился мир: жили к старшим послушно, с равными дружно, с младшими строго и милостиво. Ладно и весело на сердце. А чуть что не так, дедушка стукнет, все смолкнут, оглянутся — дедушка, дескать, стучит недаром. Стерегись.

Бывало, деревянный дом, а стоит-стоит — и веку нет; стены напитаются человеческим духом, окаменеют; вся крыша прорастет мохом — гниль не берет.

То были времена, а теперь другие: и теперь есть домовой — да внутри нас; тоже заголосит подчас, да про глухого тетерева.

Вот в чем беда.

До нашествия французов много было еще таких домов, со старинными домовыми, а после того, сколько мне, по крайней мере, известно, только два, по соседству, рядышком.

Старинные дома были как-то не то, что теперешние. Старинные дома были гораздо хуже, и сравнения нет, да в старинных домах были такие теплые углы, такие ловкие, удобные, насиженные места, что сядешь — и не хочется встать. Про печки и говорить нечего:

печки были как избушки на курьих ножках, с припечками, с печурками, с лежанками; и на печке, и за печкой, и под печкой — везде житье, а теплынь-теплынь какая! И домовому был уют.

То были времена, а теперь другие. Бывало, все в полночь спит мертвым сном. Не спалось, бывало, только тому, чей день был грешен. Зато он и наберется страху от грозы домового, заклянется от греха: век, говорит, не буду! И теперь тоже говорят: век не буду, да по пословице — "день мой, век мой" — с, наступлением зари нового века принимаются за старые грехи, а пугнуть некому:

старинных домовых нет, и внутренний голос осип.

Один из старинных, упомянутых нами домиков, в которых водились еще дедушки-домовые, принадлежал одной старушке.

Это было чудо, не просто старушка, а молодая старушка; зато дедушка-домовой и лелеял ее сон, ходил на цыпочках и, как домовый "Чуровой долины", вместо обычной возни наигрывал на гусях и распевал любовные песни. Дедушка в самом деле был влюблен в нее,

как домово́й "Чуровой долины" в княжну Зо-
рю.

И был прав: при неизменчивости душев-
ной красоты и наружная не вянет, по край-
ней мере в памяти. У старушки неизменны
были и ангельская улыбка, и приятный взор.
Морщинки как будто еще украшали ее личи-
ко; недостаток зубков как будто придавал
нежность речам: ведь выпадают, же у детей
молочные зубы, и это нисколько их не пор-
тит; а добрая старость тоже младенчество.

У старушки был внучек Порфирий. Она так
любила его, нежила и берегла, что даже в
комнате для предостережения от простуды он
ходил в чепчике и грудка его сверх курточки
обвязана была большим платком. Так как по
старому обычаю молодой человек лет до 20
считался ребенком, то и старушка смотрела
на внука своего, как на дитя, хотя ему было
уже около 18 лет. Он в самом деле был преми-
льный ребенок, и, когда летом сидел в мезонине
у открытого окна, в чепчике и бабушкином
платке, чтоб не пахнул ветерок на грудку,
проходящие и проезжающие современные
юноши заглядывались на него, воображая,

что это сидит в тереме красная девушка. Не хуже красной девушки он потуплял глаза свои от нескромных взоров.

Старинный дом по соседству был как родной брат дому старушки и также с мезонином, которого боковое окно обращалось к соседу; но стекла от времени сделались перламутровыми.

Соседский дом принадлежал старичку, больному, дряхлому, мнительному и капризному и от лет и от бед, которые он перенес в жизни. У него оставалось одно утешение — внучка Сашенька, ребенок-душка, каких мало. При Сашеньке была старая няня, а при самом старичке старый Борис, дряхлее своего господина, который по ночам, во время бессонницы, заговаривался уже с домовым.

В продолжение дня старик сидел в глубоких креслах, обложенный подушками, тяжело дышал от удушья и, посматривая на внучку, которая играла подле него куколками из тряпочек, все бормотал что-то про себя. Иногда и разговорится: няня свернет Сашеньке новую куколку, внучка подбежит к дедушке и похвастается своей куколкой: "Дедушка, ку-

колка!"

— А! куколка? — скажет старик. — Хорошо... вот постой... я куплю тебе настоящую куклу...

— Да только все обещает дедушка, — отвечает вместо Сашеньки няня.

— А вот... будет хорошая погода... так мы и поедем в город... — скажет старик, посматривая в окно сквозь тусклые стекла летних и зимних рам. — Видишь, какая пасмурная погода...

— Бог с вами, какая пасмурная, — скажет няня, — если уж эта пасмурная, так светлой-то нам и не дожждаться.

— Сырость в воздухе, — проговорит старик, — это я чувствую по себе... так и душит...

Во время ночей старик мается на постели и также все бормочет:

— Совсем сна нет... вить уж скоро, чай, заутреня? Заутрени скоро!..

0-хо-хо!

— Ого, — ответит домовой, повернувшись за печкой с боку на бок.

— Смотри пожалуй... где это стучат? Чу, стучит... а?

— Ага! — отзовется домовой.

Старик начнет прислушиваться, потом кликнет сонного Бориса и спросит:

— Где это стучит?

— Нигде не стучит.

— Что-о?

— Нигде не стучит, — крикнет Борис на ухо.

— Что ж эхо... в голове, стало быть, стучит?..

И старик снова начинает прислушиваться, где стучит: в голове или вне головы. А Борис, уходя, бормочет себе под нос:

стучит! Черт, домовой стучит, прости господи! Ляжет, а домовой и начнет его душить за ложь и брань.

Так проходили годы. Сашенька подрастала, старик дряхлел и час от часу становился мнительнее и боязливее за внучку. Соблазн ему представился во всем ужасе. Припоминая свою храбрую молодость, он знал, что девушка в 15 лет как кудель: стоит только бросить огненный взор — и загорелась. Не доверяя и глазу старой няни, он без себя не стал отпускать Сашеньку даже в церковь. Напрасно няня представляла ему, что это великий грех, — Когда ж вы соберетесь-то сами? — говорила она ему.

— А вот... погода будет получше... поедет в соборы... в соборы поедем... покуда дома помолится... все равно;..

— Нет, не все равно! грех!

— Ну, ну, ну, ты дура... По-вашему, не грех женихов выглядывать!..

— Что ж такое? А по-вашему как? По-нашему, дай бы бог, чтобы нашелся женишок Александре Васильевне, — отвечала няня с сердцем.

Старик пришел в ужас.

— Молчи!., дура!.. Я прогоню тебя! — вскричал он. — Видишь, что говорит!., научит еще ребенка под окном сидеть, напоказ!., окон на улицу у меня ни под каким видом не отворять!., слышишь?

а не то заколочу! Я тебя заколочу и окна заколочу!

— Слава тебе господи, дослужилась до доброго слова! — проговорила няня, залившись слезами.

Тревожное опасение за внучку день ото дня увеличивалось.

Только и думы у старика: как бы скрыть свое сокровище от обаяния какого-нибудь чародея.

"Где- ж усмотришь за девочкой, — думал он, — выглянет на улицу — и беда! Вон, эво, так и шныряют проклятые ястребы — нет ли в окне добычи".

Подозрительный глаз старика так и преследовал всех молодых людей, проходящих по улице. Как на зло ему, большая часть оставалась, чтоб посмотреть на два старинных домика. В самом деле, после 12-го года они одни красовались посреди пожара и

казались такими завидными для всех погоревших, что, проходя мимо, каждый останавливался и восклицал: "Смотри пожалуй, кругом все обгорело, а эти чертовы избушки стоят себе как будто бы ни в чем не бывало!.. Ей-богу, на удивление!"

Но вскоре все соседство как будто разбогатело после пожара — вместо деревянных домов выстроило себе каменные палаты, и снова все прохожие, вместо умильного взгляда на почтенную древность, восклицали: "Смотри пожалуй, две чертовы избушки втесались между каменных палат! Ей-богу, на удивление!"

Эти остановки проходящих и любопытство взглянуть на обросшие зеленым мохом домики мнительный старик понимал посвоему.

— Ох, эти мне, — бормотал он про себя, — глазом не видят, так чутьем слышат.

Долго придумывая, как бы охранить внучку от соблазна, старик наконец ухитрился.

— Постой, погоди, молодцы, — сказал он, — я вас проведу мимо двора щей хлебать!..

И тотчас же, несмотря ни на горе покорной внучки, ни на слезы и ропот ее няни,

приказал обстричь под гребешок прекрасные волосы Сашеньки. Потом велел Борису вынуть из сундука все старое платье и принести к себе.

Притащив груду рухляди, Борис, кряхтя, сложил ее перед стариком и, казалось, начал приподнимать по очереди слежавшиеся дружно тени нескольких поколений огромного некогда семейства. Память о далеком прошлом ожила перед двумя стариками, но барин думал о своем.

— Тут должна быть курточка Кононушки! — сказал он.

— Где ж тут курточка? — отвечал Борис, перебирая и рассматривая мужские и женские платья прошедшего столетия. — Это не курточка!

— Покажи-ко: какая ж это курточка, это камзол дедушкин...

— Эка, — проговорил Борис со вздохом, — носить бы да еще носить!., бархат-то! а?.. Это робронт!.. Кажись, покойницы матушки... Дай бог ей царство небесное.

— Покажи-ко. Какая ж это курточка?..

— Какая ж курточка, кто говорит... каф-

тан-то ваш... а? шитьето какое!.. Кажись, Пелагея-то Васильевна своими руками вышивала., материал-то! Не то, что теперь!..

— Не матерчатая, а суконная, я тебе говорю!..

— Суконная? Так бы вы и сказали... Какая ж суконная?..

Вот суконный-то ваш мундир весь моль съела...

— Как моль съела? Покажи-ко.

— Словно решето.

— И Кононуяшину курточку-то моль съела?..

— А бог ее знает: вот ведь тут ее, нету... Разве в другом сундуке.

После долгих поисков курточка была найдена. Старик обрадовался, призвал Сашеньку и велел ей надеть, а на шейку повязать платочек.

— Для чего же это, дедушка? — спросила она.

— Для чего! Ты у меня будешь амазонка... Посмотришь-ко в зеркало... хорошо? Ты у меня будешь амазонка...

— Да что ж это, для чего ж это, сударь, на-

рядили так барышню-то?

— А для того, что я так хочу. Ты, дура, не знаешь ничего, так и молчи. Немножко широка... сошьем новенькую, поуже, к празднику... так и ходи. Ты у меня будешь амазонка, в амазонском платье.

— Вы говорили, дедушка, что в амазонском платье верхом ездят... Помните, проехали верхом какие-то дамы?.. Вы будете меня учить верхом ездить?

— Верхом!.. ЧВидишь ты какая!., погоди... вот подрастешь, лет через десяток... а теперь и так хорошо... и под окошко сядешь...

не простудишься... а то грудь и шея открытые... не годится...

Распорядившись таким образом, старик успокоился, рад выдумке. Сядет подле окна, посадит подле себя внучку и насмехается в душе над проходящею молодежью.

— Да, смотрите, смотрите!.. Каков у меня внучек? Хорош мальчик? а?.. Что ж не смотрите? Это, верно, не девочка? Такой же небось юбоншик, как вы?.. Да! как же, так и есть!.. Нет! млости просим мимо двора щей хлебать!..

Заколдованная дедушкой от всех глаз, Которые ищут предметов любви, долго Сашенька была еще беспечным ребенком, которого занимали сказки няни, птички, цветы и даже порхающая бабочка в садике. Но вдруг что-то стало грустно ей на сердце, чего-то ей как будто недостает, время от утра до вечера что-то тянется Слишком долго: сидеть с дедушкой скучно, рассказы няни надоели, все бы сидела одна у окошечка да смотрела на улицу — нет ли там чего-нибудь повеселее?

— Нянюшка, отчего это мне все скучно? — говорит она няне.

— Отчего же тебе скучно, барышня? — отвечает ей няня.

— Сама не знаю.

— Оттого, верно, тебе скучно, что подружки нет у тебя.

— Подружки? — проговорила Сашенька призадумавшись. — Где ж взять ее, няня?

— А где ж взять? Откуда накличешь?

"Накликать", — подумала Сашенька, когда няня вышла, и она стала накликать зауныв-

НЫМ ГОЛОСОМ ПОД НАПЕВ СКАЗКИ ПРО АЛЕНУШКУ:

*Подруженька, голубушка,
Душа моя, поди ко мне;
Тоска-печаль томят меня.*

Вдруг показалось ей, что голос ее как будто отзывается где-то. Она прислушалась: точно, кто-то напевает в соседском доме.

Сашенька приотворила боковую окно, взглянула, вспыхнула, сердце так и заколотилось.

— Ах, какая хорошенькая! — проговорила сама себе Сашенька. — Вот бы мне подружка!

И долго-долго смотрела она стыдливо сквозь приотворенное окно на Порфирия, который также разгорелся, устремив на нее взоры, и думал: "Ах, какой славный мальчик! вот бы нам вместе играть!"

"Я поклонюсь ей", — подумала Сашенька, но вошла няня, и, как будто боясь открыть ей свою находку подружки, захлопнула окно.

На дворе стало смеркаться, а няня сидит себе да вяжет чулок.

Так и вечер прошел. Легли спать; а Савденьке не спится, ждет не дождется утра.

Настало утро. Надо умыться, богу помолиться, идти к дедушке поздороваться, пить с ним чай, слушать его рассказы, а на душе тоска смертная.

— Не хочется, дедушка, чаю.

— Куда же ты? Сиди.

Ах, горе какое! — Сашенька с места, а дедушка опять:

— Куда ж ты?

— Сейчас приду, дедушка.

Сашенька наверх, в свою комнату, а там няня вяжет чулок.

Так и прошло время до обеда; а тут обед. А дедушка кушает медленно, а после обеда, куда заснет — сиди, не ходи.

Господи! Что это за мука!

Но вот дедушка уснул. Няня вышла посидеть со старым Борисом за ворота. Сашенька одна; приотворила тихонько окно, тихонько запела: "Подруженька, голубушка", но никто не отзовется, в соседском доме окно закрыто.

Ах, какое горе!

Прошел еще день. Сидит грустная Сашенька подле няни, призадумавшись. Вдруг слышался напев ее песни, сердце так и екну-

ло.

— Ну, уж хорошо как-то там курныкает, нечего сказать! — проговорила няня.

— Нянюшка, пить хочется.

— Ну что ж, испей, сударыня.

— Мне не хочется квасу, мне хочется воды.

— Э-эх, ведь вниз идти надо!

— Пожалуйста!

— Ну, ну, ладно.

Няня вышла — а Сашенька к окну. Приотворила — глядь, ей поклонились.

— Здравствуйте! — сказал Порфирий.

— Здравствуйте! — произнесла и Сашенька.

Они посмотрели друг на друга умильно и не знали, что еще сказать друг другу.

— Приходите к нам, — сказал наконец Порфирий.

— Нет, вы приходите к нам; меня не пускают из дому, — отвечала тихо Сашенька.

— Экие какие!

Этим разговор и кончился; слышались шаги няни, Сашенька захлопнула окно.

На следующий день Порфирий целое утро курныкал песенку под окном. Сашенька все

слышала, с болью сжималось у ней сердце от нетерпения, покуда дрожащая рука ее не отворила снова окна с боязнью.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Послушайте... выходите в садик!

— В садик? Ну, хорошо.

— Поскорей.

— Ну, хорошо.

Порфирий притворил окно. Сашенька также и побежала в садик.

— Здравствуйте, сударыня-барышня, — сказал ей Борис, беседовавший с няней на крыльце.

— Здравствуй, Борис, — отвечала ему Сашенька.

— Куда вы, барышня? — спросила ее няня.

— В садик.

— Посмотрите-ка, сударыня-барышня, какую я вам дерновую скамеечку сделал под липой-то, извольте-ка посмотреть.

И Борис потащился следом за Сашенькой.

Ах, какая досада!

— Вот, видите ли, барышня... Извольте-ка присесть.

— Спасибо тебе.

— Кому ж и угождать мне, как не вам, барышня: вы у нас такое нещечко... Дай вам господи доброго здравия да женишка хорошенького.

— Ах, полно, Борис, — проговорила Сашенька, покраснев, — ступай себе.

— Ничего, сударыня-барышня, что тут стыдно...

В соседском садике послышалось курныканье Порфирия.

"Ах, какой этот несносный Борис", — подумала Сашенька.

— Ничего, сударыня-барышня... да и красавицы-то такой не сыщем... и дедушка-то не нарадуется на вас... Скупенек немножко, бог с ним. Вас бы не так надо было водить... в золоте бы водить, барышня, да не все дома держать... чтоб женишки...

— Ступай, Борис, оставь меня.

— Экие вы какие! Я ведь к слову сказал... Вот, сударыня-барышня, попросите-ка у дедушки на сапоги мне... Извольте посмотреть, совсем развалились.

— Хорошо, хорошо, я попрошу.

— Извольте посмотреть: пальцы вылезли.

— Хорошо, хорошо, ступай.

— Да, вот оно: у солдата купил, три рубля заплатил... солдатские-то, говорят, крепче...

Сашенька от нетерпения и досады вскочила с дерновой скамьи и пошла прочь от Бориса.

— Что ж вы, барышня, не изволите сидеть? Дерьн-то какой славный.

И Борис начал поглаживать скамью и обирать с дерна желтую и завядшую травку.

Между тем Сашенька прошла подле забора.

— Здравствуйте, — раздалось в скважинку за кустами малины.

— Здравствуйте, — тихо проговорила и Сашенька, остановясь и оглядываясь, не смотрит ли на нее Борис.

— Как я вас люблю, — сказал Порфирий.

— Ах, как и я вас люблю... Если бы мы были всегда вместе!

— Барышня, а барышня, где вы, сударыня? Чай кушать зовут, — крикнул Борис.

— О боже мой, какая скука, — проговорила Сашенька.

— Приходите после, — шепнул Порфирий.

— После? Хорошо.

И Сашенька побежала домой.

После чаю она двинулась было с места, но дедушка усадил ее подле себя перебирать старые письма.

— О господи, когда ж после? — проговорила Сашенька про себя, почти сквозь слезы.

Старик ужинал рано; хотелось ему спать или не хотелось, но он ложился в постель в определенное время. А тут, как нарочно, сидит себе да раздобарывает[1] с внучкой и с ее няней, потешается, что у них глаза липнут. Рассказывает себе про житье-бытье своего дедушки, какой у него был полный дом, какой сад, какое именье, какое богатство, великолепие и этикет. Призванный Борис, как живая выноска примечаний к рассказу, стоял у дверей, заложив руки назад, и по вызову барина подтверждал его рассказ.

— Помнишь, Борис? а?

— Как же, сударь, не помнить...

— А гулянье-то было по озеру, с роговой музыкой, в именины покойной бабушки Лизаветы Кирилловны... Вот, надо рассказать...

— Никак нет-с, батюшка: это было не в именины, а как раз в день рождения ее превосходительства... Как раз, сударь, в день рожденья.

— Как в день рожденья?.. Постой-ка, врешь!

— Да как же, батюшка, именины-то ее превосходительства, покойной Лизаветы Кирилловны, дай бог ей царство небесное, когда были? В октябре, сударь?

— Да, да, да!.. Экая память!..

— Дедушка, мне спать хочется, — проговорила Сашенька, зевая и привстав с места.

— Спать? А отчего ж мне не хочется? а?

— Не знаю, дедушка.

— То-то, не знаю, а я знаю. Это потому, что дедушка любит внучку и ему приятно провести с ней время.

— Да что ж, сударь, пора ночь делить, — проговорила и старая няня, зевая.

— Ты дура, ты все потекаешь ребенку! Пошли! спите!

Дедушка рассердился. Сашенька и няня, потупив глаза, молчали и ни с места.

И дедушка молчит, сурово нахмурился. И

это гневное молчание тянулось обыкновенно до тех пор, покуда не вытянет душу.

Сашенька прослезилась, но утерла слезку: дедушка не любит слез.

— Ну, ступайте спать, — сказал наконец дедушка смягченным голосом, довольный, что дал урок в терпении.

Сашенька простилась с ним, побежала наверх, бросилась в постелю и залилась слезами. В первый раз почувствовала она тяготу на сердце, в первый раз воля дедушки показалась ей невыносимой. Ей так и хотелось броситься в окно, чтоб хоть умереть на свободе.

Няня, уговаривая Сашеньку, что грех так огорчаться, раздела ее и легла спать. Но у бедной девушки не сон в голове: душа взволнована, сердце бьется, в комнате душно; так бы идохнула свежим воздухом.

— Когда же после? — повторяла Сашенька. — Когда мне было после прийти?.. Ах, как голова болит!.. Пойду в сад...

И она обулась, надела капотик, прислушалась, спит ли няня, осторожно отворила дверь и вышла. Сени запирались задвижкой.

Из сеней два шага до садика. Ночь светлая,

прекрасная. Только что она подошла к липе, под которой старый Борис устроил ей дерновую скамью, вдруг что-то зашевелилось.

Сашенька затрепетала от страха.

— Это вы? — тихо проговорил Порфирий, бросаясь к ней из-за куста и схватив ее за руку.

Сашенька долго не могла перевести духу.

— Чего ж вы испугались?

— Так, что-то страшно, — проговорила Сашенька.

— Страшно? Отчего?

— Так.

— А я ждал-ждал, ждал-ждал.

Держа друг друга за руку, они присели на дерновую скамью и долго молча всматривались друг в друга с каким-то радостным чувством.

— Ах, как хорошо мне с вами! — сказал Порфирий.

— Ах, и мне как хорошо! — произнесла Сашенька, приклоняясь на плечо Порфирия.

Высвободив руку из бабушкина салопы, который был на нем, он обнял Сашеньку, приложил свою щеку к ее горячему лицу и поце-

ловал ее.

— Ах, если б всякий день нам быть вместе!

— Дедушка меня никуда не пускает, — сказала Сашенька, вздохнув.

— Экой какой! И меня бабушка никуда без себя не пускает.

— Экая какая!

— Да, ей-богу, это скучно!.. Вот с вами как бы мне весело было.

— И мне, — произнесла тихо Сашенька.

И они обнялись.

— Как вас зовут?

— Сашенькой. А вас?

— Меня зовут Порфирием.

— Как же это так? Такой святой нет у дедушки в календаре, — сказала Сашенька, которая и по дедушкину календарю, и по напоминаяню няни знала наизусть всех святых и все праздники.

— Как нет? — отвечал Порфирий. — Нет есть; у бабушки в святцах есть. Мои именины 26 февраля, в день святого отца Порфирия архиепископа. И дедушка у меня был Порфирий.

— Мужское имя!

— А какое же? Что я, девушка, что ли? Я не девушка.

— Ах, боже мой! — вскрикнула с невольным чувством испуга Сашенька, отклоняясь вдруг от плеча Порфирия.

— Что такое? Чего вы испугались? — спросил Порфирий, осматриваясь кругом. — Какие вы боязливые... Не бойтесь!

— Пустите, — проговорила Сашенька.

— Куда, Сашенька? Нет, не уходи, пожалуйста!

— Пустите, пустите! — проговорила Сашенька, и, вырвавшись из рук Порфирия, она быстро побежала вон из сада.

— Сашенька! дружок! послушай! — крикнул вслед ей Порфирий. Но Сашенька уже дома, испуганная, взволнованная.

IV

На другой день няня, удивляясь, что барышня заспалась, вошла в ее комнату. Сашенька, вместо спокойного сна, лежала в какой-то болезненной забывчивости, лицо ее горит, дыхание тяжело.

Няня перепугалась; не горячка ли, подумала она. Но Сашенька очнулась, и пылкий жар лица заменила вдруг бледность, живой взор стал томен, и все она как будто чего-то ищет и не находит.

Когда в мезонине соседнего дома раздается напев ее песни, Сашеньку бросит в огонь; как испуганная, она вскочит с места и не знает, куда ей идти.

Так прошло несколько времени. А между тем старушка, бабушка Порфирия, отдала богу душу. Она водила его с собою только в храм божий да к своим старым знакомым обвязанного, окутанного. Теперь он свободен, хозяин дома, а располагать собою не умеет, его понятия обо всем — еще детские понятия.

Привычка к безусловной покорности бабушке передала его в распоряжение дядьке

Семену и бабушкиной ключнице Дарье. Старая Дарья видела в нем еще ребенка и хотела водить его как ребенка, по обычаю бабушки; но Семен твердил ему по-свойски:

— Что вы, сударь, бабитесь, стыдно! И то бабушка-то вас продержала в пеленках, покуда все невесты ваши замуж повышли!

Слова Семена быстро подействовали на молодого человека, и он приосанился, как будто вдруг попрос. С потерей детских чувств исчезло в нем и страстное желание познакомиться с хорошеньким соседом. Он перестал напевать заунывную песенку Сашеньки.

По завещанию бабушки ему следовало навестить одного из дальних родственников, который обещался определить его на службу.

Вот Порфирий и собрался к нему. Семен, сходяв за извозчиком, начал одевать своего молоденького барина и, по обычаю, разговаривать сам с собою:

— Эка, ей-богу, кажется, живые люди, а хлопотать о похоронах некому.

— О каких похоронах? — спросил Порфирий.

— Да вот в соседском доме старик-то умер,

а кругом-то его кто?

Молоденькая барышня-внучка, да дура старая баба, да старый хрен слуга; туда же в гроб глядит.

— Где это, где? В каком соседском доме?

— Да вот рядом, через забор. Что за внучка-то, что за девочка, ах ты господи!

— Тут рядом? с мезонином-то? Какая же внучка? У этого старика молоденький внук.

— Вот! Я своими глазами видел барышню. Что это за красавица такая!.. Плачет!..

— Семен, пойдем посмотрим, — прервал Порфирий, — сделай милость, пойдем!

— Да пойдемте, пойдем, отчего ж не сходить. Оно, по соседству, следовало бы и помочь в чем-нибудь. Барышня-то молодая, а кругом-то ее что?

Порфирий схватил шляпу и побежал. Семен за ним, на соседний двор.

Сквозь толпу гробовщиков, стоявших в передней, трудно уже было пробраться. Ни в одном роде торговли нет такого соперничества и перебою. Старый Борис, отирая слезу, бранился с ними.

— Что, брат, что просят? — спросил его Се-

мен.

— Пятьсот рублей за гроб! Мошенники!

— Не за гроб, сударь, а за покрывало, дроги и мало ли что.

— Ты молчи, воронье чутье! Барин только что заболел, а уж эта рыжая борода приходил сюда рекомендоваться! И имя узнал! Прошу, говорит, Борис Гаврилыч, не оставь своими милостями:

барин умрет, так уж мы, говорит, поставим знатный гроб, и покрывало, и все что следует... Ах ты, чертова пасть! Пошел вон!

Между тем как Семен помог старому Борису уладить торг насчет длинного ящика, Порфирий вошел в комнату, где лежал покойник. Он не обратил внимания ни на покойника, ни на толпу любопытных, вымерявших глазами длину умершего; все внимание его вдруг поглотилось наружностью девушки в черном платье, которая стояла подле стола, приклонясь на плечо старой женщины.

Слезы катились из ее глаз.

Сердце Порфирия забилося как будто от испуга. Он не верил глазам своим: лицо так знакомо, это Сашенька... Нет, это, верно, его сест-

ра... Она нежнее, белее его, у ней чернее глазки, думал он.

И взор его оцепенел на ней.

— Барышне-то дурно, водицы надо... стой, я принесу, — сказал какой-то неизвестный человек с растрепанными волосами, в стареньком сюртучишке, пробираясь в другую комнату.

— Куда! — крикнула няня. — О господи, и присмотреть-то некому!.. Пойдите, барышня...

И она бросилась за заботливым незнакомцем.

Сашенька пошатнулась от порыва няни. Порфирий успел ее поддержать. Она взглянула на него, и все чувства ее как будто замерли, голова приклонилась к плечу молодого человека.

— Не троньте! Извольте идти отсюда! А не то здкричу! — раздался голос няни из другой комнаты.

— Что ж... я ничего.... я прислужиться хотел... водицы подать... - говорил, пошатываясь, неизвестный, выходя из дверей.

— Вишь, нашел водицу на гвозде! По-

шли-те вон отсюда!

— Что ж... пойду... Я вашему же покойнику, поклониться хотел... последний долг отдать...

— Да, да, знаем мы вас! — продолжала няня. — Спасибо, батюшка, что поддержал барышню мою, — сказала она Порфирию.

— Позвольте мне принять участие в вашем горе и помочь вам распорядиться, — сказал Порфирий Сашеньке, когда она очнулась и стыдливо отклонилась от него к няне.

— А вы кто такой, батюшка? — спросила няня.

— Я сосед ваш. Если угодно, я и мой человек к вашим услугам...

Вы можете положиться.

— Да вот бы надо было послать кого-нибудь на кладбище, заказать могилу.

— Я сам съезжу, — вызвался Порфирий и, поручив Семена в распоряжение Сашеньки, отправился на кладбище. Приехав на ниву божью, он долго ходил между могил, не встречая никого, покуда не увидел выходящего из ворот дома старика священника.

— Где мне, батюшка, отыскать тут могиль-

щиков? — спросил его Порфирий.

— Что вам, могилку, что ли? — сказал священник.

— Да, батюшка, не знаю, к кому обратиться.

— Могилку? хорошо, хорошо, доброе дело, мы очень рады, пойдете... Чай, выберете место, а то у нас и готовые есть.

— Это все. равно, я думаю.

— Все равно: здесь славные места, славные места! Сухие, грунт песчаный... Эй! Ферапонт!.. Где ты?

— Здесь, — отозвался могильщик из глубины могилы, которую он рыл.

— Что, это заказная или так, на случай? — спросил священник.

— Заказная.

— Так вот и господину-то выройте могилку.

— Ладно. Младенцу, верно?

— Нет, старику, — отвечал Порфирий.

— Так бы уж и говорили. Ладно.

Заказав могилку, Порфирий отправился назад. Истомленная бессонными ночами во время болезни дедушки, Сашенька заснула.

Но за нее было уже кому хлопотать. Порфирий обо всем озаботился и, провожая покойника, шел рядом с его внучкой, Когда опустили гроб в-могилу, Сашенька, почти без чувств, упала к нему на руки.

— Это, верно, жених ее, — говорили в толпе народа, собравшегося около могилы, — вот парочка.

И Порфирдй и Сашенька это слышали.

Порфирий проводил ее до дому и хотел проститься.

— Куда ж вы? — сказала она ему.

Порфирий вошел в дом.

Сели и молчат, бояться даже смотреть друг на друга...

Посидев немного, Порфирий встал.

— Куда же вы? — повторила Сашенька.

— Вы утомились, вам надо отдохнуть.

— Когда же вы к нам будете?

— Если только позволите... — проговорил несвязно смущенный Порфирий.

На следующий же день он явился к соседке узнать об ее здоровье.

На этот раз она была разговорчивее, Порфирий смелее.

Слово «здравствуйте» напомнило и ему и ей первое сладостное ощущение сердца. Они произнесли его, и оба вспыхнули.

Няне ужасно как понравился скромный молодой человек.

"Вот бы парочек барышне", — думала и она.

— Уж если б вы видели, Порфирий Александрович, как покойник наряжал барышню — смех, да и только! Совсем не подевичьему! мальчик, да и только.

"Да, не видал!" — подумали в одно время и Порфирий и Сашенька, взглянув друг на друга и невольно улыбнувшись.

— Это амазонское платье я носила, нянюшка, — сказала Сашенька, — ко-мне оно лучше шло. В чепчике хуже.

Порфирий вспыхнул. Она заметила это, поняла, что некстати

упомянула о чепчике, и, также покраснев, опустила глаза и замолчала.

— Я вас и принял за мужчину, — сказал Порфирий, оставшись — наедине с Сашенькой.

— А я думала, что вы девушка.

Порфирий рассказал ей, как бабушка берегла его от простуды и рядила в чепчик, платок.

— Я хоть бы опять надеть чепчик, — прибавил он.

— Ах боже мой, для чего это?

— Так... вам нравилось.

— Ах, нисколько, так гораздо лучше, — опрометчиво вскрикнула Сашенька.

— Тогда вы мне сказали... — начал было Порфирий с простодушною откровенностью сердца, но вспомнил испуг Сашеньки и замолчал.

Сашенька, казалось, также все припомнила, покраснела и потупила глаза.

Но, верно, в самой природе женщины есть хитрость.

— Что ж я вам сказала? — спросила она, не поднимая взоров.

— Вы сказали... "Если б мы были всегда вместе", — произнес тихо Порфирий.

Сашенька снова вспыхнула и, стыдясь своего смущения, закрыла лицо руками.

Первая любовь пуглива, как вольная птичка; много, много проходит времени, пока она сделается «ручною». Природа ведет себя необыкновенно как умно, стройно и отчетливо. Порфирий был свободен, Сашенька также; за ними ничей глаз не присматривал, ничье ухо их не подслушивало, чувства так и влекли их друг к другу; а между тем самый строгий, ревнивый к благочестию присмотр не упрекнул бы их ни в чем. Казалось бы, им опасно сидеть вместе на дерновой скамье, под липой; сладкое воспоминание первого поцелуя должно бы было взволновать их чувства, давало право на полную откровенность; напротив: тут-то чувства их и становились боязливее. И это продолжалось до тех пор, пока любовь выросла, созрела на сердце и вдруг в одно утро расцвела, как махровая роза. И в глазах, и в выражении голоса явилась какая-то особенная нежность. Все в них стало ясно друг для друга, они взглянули один на другого и обнялись.

— Помните, я сказал: как я вас люблю! —

прошептал Порфирий.

— Помню!

— А вы сказали: ах, как и я вас люблю; если б мы были всегда вместе! Помните?

— Помню, помню!

Казалось бы, это блаженное мгновение надо было продлить, скрыть от всех свое счастье, но Сашенька вскрикнула опять:

пустите! И, вырвавшись из объятий Порфирия, побежала вон из комнаты.

— Куда вы? Чего вы испугались? — и Порфирий вообразил, что Сашенька опять так же испугалась чего-то, как в первый раз в садике.

Но Сашенька побежала поделиться своим счастьем с няней.

Порфирий задумался, сердце его сжалось, вдруг слышит голос Сашеньки: "Пойдем, пойдем скорее".

И, притащив няню за руку, она вскричала:

— Смотри, нянюшка!

И бросилась на шею к Порфирию.

— Ах вы, баловники, греховодники! — вскричала няня, всплеснув руками и качая головою.

Вырвавшись снова из объятий Порфирия,

Сашенька бросилась на шею к няне и задушила ее поцелуями.

— Ну, ну, ну, пошла от меня, бесстыдница! Пошла к своему любезному на шею! Вот погоди, поп-то вас обвенчает, а посаженныйто отец плетку даст на тебя.

Начались сборы к свадьбе.

Природа очень умно взлелеяла любовь в юноше и в девушке, решила взаимное желание их быть и жить вместе; но не дело природы было решать, где им жить.

Кажется, все равно, где бы им жить, лишь бы жить вместе.

Но, верно, не все равно: покуда длились сборы к свадьбе, между женихом и невестой зашел спор: в котором доме им жить? Сашеньке хотелось непременно жить в доме Порфирия, потому что это был дом Порфирия; а Порфирию — в доме Сашеньки, потому что это был дом Сашеньки.

— Я продам свой дом, — сказал Порфирий, — мы будем жить в твоём доме.

— Ах нет, ни за что! — вскричала Сашенька. — Мы будем жить в твоём доме; лучше мой продать.

— Ах нет, ни за что! — сказал в свою очередь Порфирий.

Мне твой лучше нравится.

— А мне твой.

И вышел спор из самого чистого доказательства взаимной нежности. Ни Сашенька, ни Порфирий не хотят уступить один другому в том чувстве.

— Тебе хочется все по-своему делать, — проговорила Сашенька, надувшись,

— если ты свой дом продашь, то я продам свой!..

— Посмотрим! — подумал Порфирий, вспыхнув. Его затронул упрек.

Взволнованное сердце Сашеньки скоро улеглось. Она подошла к Порфирию, но он отвернулся от нее.

Новая искра огорчения. Сашенька отошла от Порфирия, села в угол, закрыла лицо руками и задумалась сквозь слезы: он не любит меня!..

— Сашенька, — сказал Порфирий, взглянув на нее. И он бросился к ней.

— Подите прочь от меня! — проговорила Сашенька.

Обиженное чувство снова возмутилось. Порфирий не перенес его, взял шляпу; мысли его были в каком-то тумане. Он пришел домой.

Там, как на беду, его ждал уже покупатель дома. Решившись продать дом, Порфирий поручил это Семену, который и сам то же советовал ему.

— Вот, сударь, извольте получить деньги, — сказал Сем-ен, входя с каким-то мещанином, — я решил дело.

Мещанин отсчитал деньги, положил их на стол перед Порфирием и поднес ему подписать бумагу.

— Да что ж вы, сударь, подписываете, не считая, — сказал Семен.

— Как раз тысяча двести серебром, так-с?

— Так, — отвечал Порфирий, перевертывая ассигнации без внимания.

На другой день поутру тот же покупатель явился в соседний дом к Сашеньке.

— Я, сударыня, — сказал он ей, — купил у вашего соседа дом, да место маленько. Не продадите ли и вы свой? А я бы хорошие дал бы деньги.

— Он продал дом свой! — вскричала Сашенька.

— Что ж, он хорошо сделал, барышня, — сказала няня. — Он и мне говорил, и я советовала ему продать. А нам-то уж продавать не к чему: насиженное гнездо, и вы привыкли, и я. Дал бы бог и умереть в нем...

— Он продал, — повторила Сашенька.

— Продал мне, сударыня. Дрянной домишко; признательно сказать, пообмишулился я, дал четыре тысячи двести, а теперь не знаю, что и делать. Продайте, сударыня! За ваш дом пять тысяч.

— Да, видишь, какой! пять тысяч! Барышня, а барышня, пожалуйста-ка сюда,

— сказала няня торопливо, вызывая Сашеньку в другую комнату, — продавайте, барышня!

— Да, я продам, непременно продам! — проговорила Сашенька с обиженным чувством.

— Продавайте! Дедушка-то заплатил всего две тысячи за него, за новый!.. Пять тысяч дает! Да уж вы не мешайтесь, оставайтесь здесь: шесть возьму!..

— Продавай! Я не хочу в нем жить, — проговорила со слезами на глазах Сашенька.

— Пять тысяч капитал, а мы квартиру найдем рубликов за двести, так без хлопот будет.

И няня вышла к покупщику.

— Пять тысяч не деньги, любезный, — сказала она ему, — барышня и не подумает отдать за эту цену... Шесть, если хочешь.

— Как можно! Да уже так, дом-то мне понадобился: двести набавлю.

— И не говори!

— Пять тысяч пятьсот угодно? А нет, так просим прощенья, — сказал мещанин, обращаясь к двери.

— Ну, погоди, спрошу барышню.

Дело уже было решено, дом продан, задаток взят, пришел Порфирий.

— Здравствуйте, — проговорил он тихо, как виноватый, подходя к Сашеньке.

— Здравствуйте, — отвечала она ему, не поднимая глаз.

— Ты на меня сердишься, Сашенька, — сказал Порфирий после долгого молчания.

— Сержусь, — отвечала Сашенька.

— За что ж?

— Я вас просила, вы не послушались, вы продали свой дом.

— Он очень стар: на него на починку надо было издержать, Семен говорит, тысячу рублей... — начал Порфирий в оправдание себя. — Я и нянюшке говорил, и она советовала мне продать, а жить в вашем...

— А я по совету нянюшки продала свой, — сказала Сашенька.

— Продали!

— Продала.

— Ну, если так... — проговорил Порфирий.

— Куда вы?

— Мне надо идти нанимать квартиру, — отвечал он и бросился вон.

— Порфирий! — хотела вскрикнуть Сашенька, но голос ее замер.

VI

Покупщик двух домов распорядился умнее Порфирия и Сашеньки: соединил оба дома пристройкой, подвел под одну крышу, и вот, не прошло месяца, из двух старых домиков вышел один новый, превеселенький дом: обшит тесом, выкрашен серенькой краской, ставни зеленые, на воротах: "дом мещанки такой-то", "свободен от постоя" и в дополнение: "продается и внаймы отдается".

Один бедный чиновник, но у которого была богатая молодая жена, тотчас же купил его на имя жены и переехал в него жить.

Но в доме нет житья.

Покуда домики были врозь, все было в них, по обычаю, мирно и тихо и на чердаке, и на потолке, и за печками, и в подполье; ни стены не трещали, ни мебель не лопалась, ни мыши не возились.

Но едва домики соединились в один, только что чиновник с чиновницей переехали и, налюбовавшись на свое новоселье, легли опочивать, рассуждая друг с другом, что необыкновенно как дешево, за двадцать-за-пять ты-

сяч купили новый дом, с иголки, вдруг слышат в самую полночь: поднялись грохот, треск, стук, страшная возня в земле, по потолку точно громовые тучи ходят, то в одну сторону дома, то в другую.

Молодые с испугу перебудили людей.

— Э-эх, почивали бы лучше в полночь-то, так и не слышали бы ничего, — сказала кухарка, которая всегда крепко спала в законный час, а во время дня только дремала.

Но старик дворник, выслушав рассказ господ, качнул головой и решил, что дело худо: верно, домовому не понравились жильцы!

— Ах ты старая баба! — сказала кухарка.

— Я ни. за что не останусь здесь жить! — вскричала перепуганная молодая хозяйка. — Ни за что!

И на другой же день муж ее выставил на воротах: "отдается внаем" — и тотчас же по требованию жены должен был нанять квартиру и переехать.

Вскоре один барин, проезжая мимо, остановился, прочел: "продается и внаймы отдается, о цене спросить у дворника", осмотрел дом и решил нанять.

— Так ты сходи же к хозяину, узнай о последней цене, — сказал он, давая дворнику на водку. — Вечеру я заеду.

— Слушаю, слушаю, — отвечал дворник.

Вечеру он опять приехал.

Это был Павел Воинович.

— Ну что?

— Да что, — отвечал дворник, который успел уже клюкнуть на данные ему деньги и не мог ничего таить на душе. — Я вот что вам доложу, дом славный, нечего сказать... славный дом...

— Да что?

— А вот что: кто трусливого десятка, тому не приходится здесь жить.

— Отчего?

— Отчего? а вот отчего: я по совести скажу... тут водятся домовые.

— Э?

— Право, ей-богу! по ночам покою нет.

— А днем? — спросил Павел Воинович.

— Днем что: днем ничего, только по ночам.

— Так это и прекрасно, — сказал барин, — я не сплю по ночам, я сплю днем, так ни я до-

мовых, ни домовые не будут меня беспокоить.

— Э? разве? Да оно и правда, что у господ-то все так... Ну, если так, так что ж, с богом... другой похулки на дом нельзя дать...

хоть у самого хозяина спросите, он сам то же скажет.

Таким образом, несмотря на предостережение дворника, барин нанял дом, переехал. На первый же день новоселья пригласил он пять-шесть человек добрых приятелей к обеду и в ожидании гостей, похаживая себе с трубкой в руках и в халате и в туфлях, поглядывал, так ли накрывают люди на стол, полон ли погребок, во льду ли шампанское, греется ли лафит, все ли в порядке. Гости-приятели съехались. Обед на славу, вино как сле-за.

Присутствовавший тут же поэт, подняв бокал, возгласил:

*Я люблю вечерний пир,
Где веселье председатель,
А свобода, мой кумир,
За столом законодатель,
Где до утра слово пей!*

*Заглушает крики песен,
Где просторен круг гостей,
А кружок бутылок тесен.*

— Ну, извини, любезный друг, до утра у меня пить нельзя, — сказал хозяин, — невозможно!

— Это отчего? Это почему?

— А вот почему: этот дом я нанял у самого дедушки-домового с условием, чтобы ночь я проводил где угодно, только не дома. А так как скоро полночь, то я отправляюсь в Английский клуб. Вы видите, господа, что причина законная. Извините.

Пушкин захохотал, по обычаю, а за ним захохотали и все.

Но хозяин сказал серьезно, что он не шутя это говорит, и в доказательство крикнул: "Эй! одеваться скорее!"

На этот барский крик никто не отозвался: оказалось, что и в передней и в людской — ни души. Люди, уверенные, что господа занялись делом, пошли справлять новоселье.

— Ну, нечего делать, оденусь сам, — сказал Павел Воинович, — но на кого же оставить дом?

— А домовой-то, — крикнул Пушкин.

*Эй, дедушко! ты не засни!
По-своему распорядися с вором,
Ходи вокруг двора дозором
И все, как следует, храни!*

— Ха, ха, ха, ха!

— Ага! — раздалось с обеих сторон дома.

— Слышишь? отозвался, — сказал поэт, — теперь можно отправляться спокойно. Слышали, господа?

— Слышали, слышали!

— Если слышали, так можно отправляться, — сказал хозяин.

И все отправились.

Только что господа со двора, а люди на двор пришли, смиренно присели в передней, как будто нигде не бывали, моргают глазами, думают, господа забавляются себе.

— Чай, до утра просидят? а?

— Фу, как спать хочется!..

— Ну, здоров пить!..

— Вот это что, так ли пьют... да я...

— Тс! черт ты! ревет!

— Что, ничего.

Только что эту беседу в передней заменило

всхрапыванье и свист носом, вдруг в комнатах поднялись стук, треск, возня.

— Вася! слышишь?

— А?

— Что это, брат, господа-то передрались, что ли? а?

— Что?

— Господа-то... слышишь, как возятся?..

— А бог с ними!

— Ну, и то.

И Вася и Петр задремали.

А между тем в дому как будто ломка идет.

Верь не верь, а вот произошла какая история. Мы уже сказали, что в обоих старых домиках было по домовому. Они преспокойно жили себе за печками и, видя, что все в порядке, хозяева благочестивы, лежали себе, перевертываясь с боку на бок. Когда Порфирий и Сашенька продали домики, пристройка и соединение их под одну крышу потревожили домовых, но они еще довольны были, воображая, что идет починка накатов и крыши.

Только что постройка кончилась и чиновник, купив новенький дом с иголки, переехал на новоселье, домовый Сащенькина до-

мика, с левой стороны, приподнялся в полночь осмотреть, попрежнему ли все в порядке.

"Хм, чем-то пахнет", — подумал он, выходя в пристроенную между домиками залу.

Домовой с правой стороны точно таким же образом отправился по дому дозором.

"Э-э-э! вот тебе раз! — подумал он, прислушиваясь. — Это что?.."

Только что он вышел в залу, вдруг что-то стукнуло его в лоб.

— Кто тут? — гукнул он.

— Кто тут? — отозвалось над его ухом.

— А?

— А?

— Кто тут?

— Хозяин.

— А-а-а! как хозяин? Я хозяин.

— Нет, я хозяин.

— Как — ты хозяин?

— Так, я хозяин.

— Нет, я хозяин! Вон!

— Вон? Сам вон!

Слово за слово, схватились, подняли такую возню, такой стук, грохот, что никак невоз-

можно было чиновнику, и особенно жене его, не испугаться до смерти и не выбраться поскорей из дому.

VII

Каждую ночь домовые поднимали возню и драку на чья возьмет; но ничья не брала. То же было и в первую ночь, когда барин, нанявший дом, отправился со своими гостями в клуб.

Стало уже рассветать, когда он возвратился домой; но что-то не весел, ему нездоровилось. Ночь не спал, и день не спится.

Послал за Федором Даниловичем.

— Что?

— Нездоровится.

— Э? понимаю.

И Федор Данилович прописал что-то успокоительное.

— Это порошки?

— Порошки; принимать через час.

— Очень кстати! Я бы теперь принял лучше деньги.

— Это, конечно, лучше, — сказал Федор Данилович, отправляясь к другим пациентам.

Барин протосковал вечер; настала ночь, и он, (не) исполняя условия с домовым, лег спать и против обыкновения заснул.

На правой половине дома, где был дом старушки, бабушка Порфирия, барин устроил свой кабинет, а вместе и спальню. Тут же за печкой жил и домовый. Только что настала полночь, он встрепенулся, как петух со сна, и собрался с новым ожесточением на бой с соперником. Вдруг слышит, кто-то всхрапнул.

— Это кто?

И домовый подкрался к спящему, приложил ухо к голове. — Ух, какая горячая голова! — проговорил он, отступив от постели.

— Идет! — крикнул барин во сне, так что домовый вздрогнул и на цыпочках выбрался вон из комнаты.

— А? ты еще здесь? — гукнул домовый с левой половины, столкнувшись с ним в дверях.

— А ты еще не выбрался вон? — сказал, стукнув зубами, домовый с правой половины, вцепясь в соперника.

Пошла пыль столбом. Возили, возили друг друга — утомились.

— Слушай: ступай вон добром!

— Ступай вон, как хочешь, добром или не добром, мне все равно.

— Слушай: домов много.

— Много, выбирай себе.

— Ты выбирай, я постарше тебя.

— Это откуда... я и сам счет потерял годам.

— Не считай по годам, а мерь по бородам.

— У. меня обгорела в 12-м году.

— Слушай, пойдем на-мир.

— На-мир так на-мир. Давай мне дом с богатым убранством, со всеми угожьями, дом теплый, сухой, да чтоб в доме ни одной человеческой души не жило, чтоб дом был про меня одного, про дедушку-домового: я знать никого не хочу! Чтоб дом был игрушечка, а не дом.

— Видишь! Смотри, какой дом придумал: про тебя одного.

А кто такой дом будет про тебя строить?

— Не мое дело.

— Молоденек надувать.

— Ну, как знаешь.

— Постой, подумаю.

— Подумай.

— Подумаю, — повторил сам себе домовый с правой стороны, — подумаю, нет ли такой хитрости на свете.

Воротился за печку и стал думать; не ле-

жится; вылез, ходит по комнате да твердит вслух: "Хм! игрушечка, а не дом! игрушечка, а не дом!"

— Что? — проговорил барин во сне.

— Построить дом, чтоб был игрушечка, а не дом! — отвечал дедушка-домовой, занятый своей мыслью и продолжая ходить из угла в угол.

— Игрушечка, а не дом, — затвердил и барин во сне, — игрушечка, а не дом!

Ночь прошла, домовой ничего не выдумал, а барин встал с постели, закурил трубку, велел подавать чай и начал ходить, как домовой, задумавшись — и повторяя время от времени:

— Игрушечка, а не дом!.. Что за глупая мысль пришла мне в голову, ничем не выживешь — построить в самом деле игрушечку, а не дом?.. А что ты думаешь? Построю!

Продолжая ходить по комнате, курить трубку за трубкой и рассуждать сам с собою о постройке не простого дома, а игрушечки, барин выведен был из этой думы докладом человека, что пришли из магазинов за деньгами.

— Ах, канальи! я им велел вчера придти! — крикнул барин. — Мошенники! просто ждать не будут!., надо им еще что-нибудь заказывать... Кто там?

— Да там фортопьянный мастер, мебельщик, из хрустального магазина, да и еще из каких-то магазинов.

— Позови фортепьянного мастера.

Немец вошел.

— За деньгами?

Немец поклонился.

— Отчего ты вчера не пришел? а? — прикрикнул барин.

— Все равно, — отвечал немец.

— Нет, не все равно! вчера был день, а сегодня другой...

Ну, слушай, вот еще что мне нужно: можно сделать вот такой маленький рояль, в седьмую долю против настоящего?

— Хм! игрушка? я игрушка не делаю, — отвечал немец.

— Нет, не игрушка, а настоящее фортепьяно, в эту меру.

— Это что ж такое?

— А у меня есть такой маленький виртуоз,

карлик, — ему играть... Можно?

— Хм! можна, отчево не можна, все можна за деньги делать.

— Так, пожалуйста, сделай... В седьмую долю...

— В седьмая доля? Хорошо. Только эта будет стоить то же, что настоящая рояль.

— 6 цене я ни слова, — сказал барин, — только сделай, а потом мы и сочтемся.

— Хм, — произнес, углубившись сам в себя, немец, которого заняла уже тщеславная мысль сделать крошечный рояль на славу. — Das ist ein kuriozes Werk![2] — сказал он, выходя и забыв о деньгах.

Вслед за ним явился мебельный мастер, потом приказчик из хрустального магазина. Одному заказал барин роскошную мебель рококо, в седьмую меру против настоящей, другому в ту же меру — всю посуду, весь сервиз, графины, рюмки, форменные бутылки для всех возможных вин.

Таким образом началась стройка и мебелировка игрушечки, а не дома. Знакомый живописец взялся поставить картинную галерею произведений лучших художников. На ноже-

вой фабрике заказаны были приборы, на полотняной — столовое белье, меднику — посуда для кухни, — словом, все художники и ремесленники, фабриканты и заводчики получили от барина заказы на снаряжение и обстановку богатого боярского дома в седьмую долю против обычной меры.

Барин не жалел, не щадил денег.

Вот и готов не дом, а игрушка. Стоит чуть ли не дороже настоящего; остается, по обычаю, только застраховать да заложить в Опекунский совет.

Барин и призадумался об этом.

— Странная вещь, — говорил он сам себе, — князь Василий построил же гораздо глупее игрушечку, а не дом, в котором жить нельзя; его приняли в залог, а мой, я уверен, что не примут. А между тем закладывать дом необходимо: в старину закладывали до постройки, а теперь очень умно и расчетливо закладывают после постройки. Нельзя не закладывать!

VIII

Во все время, когда игрушечка, а не дом строился и снаряжался, дедушка-домовой с правой стороны был вне себя от радости и по ночам ходил вокруг него и потирал руки.

"Вот оно, — думал он, — как ухитрился свет-то... Барин этот должен быть колдун: только что я показался, тотчас узнал; только что задумался, как бы ухитриться, а он в угоду мне и выдумал!.."

— Ну, будет дом по твоему вкусу, — говорил дедушка-домовой с правой стороны своему сопернику.

— Посмотрим, — отвечал тот.

— Увидишь, — говорил этот.

— Ну, ладно, покажи.

— Постой, не готов.

— Э, лжешь!

— Верь, право-слово!

— Ну, смотри.

Прошло еще несколько времени до совершенного окончания и отделки домика. Дедушка нетерпеливо похаживает и сам дивится, как люди-то ухитрились.

— Истринно игрушечка, а не дом! Ну, надул же я его!

Наконец дом совершенно готов, дом на семи четвертях состоит из великолепного салона и столовой — она же и бильярдная. Салон — пол парке,[3] обои шелковые, мебель роскошная — люстры, лампы, канделябры, зеркала, картины, рояль, словом, все.

— Ну, пойдём! — сказал домовый с правой стороны домовому с левой и привел его в кабинет. Барина, по обычаю, не было дома.

Ночь светлая; месяц отразился в окне на лаковом парке домика, на бронзе, на мебели: светло, как днем.

— Ну, где же?

— А вот, полезай за мной.

— Да это стол.

— Полезай!.. Ну, видишь? Что?

— Поймай, борода зацепила... А-а-а-а! — проговорил с удивлением домовый с левой стороны, входя в резные золоченые двери салона.

— Что? а?

— Да! ах какая бесподобная вещь! что твоя печурка!

И домово́й присел на кресла, потом на диванчик, потом прилег на подушку, шитую синелью по буфмуслину.

— Ну, спасибо. А это что? гусли?., а? славная вещь!., вот будет мне житье... роскошь! Не то что за печкой...

"В самом деле роскошь... — подумал дедушка с правой стороны. — Жаль и уступить... право, жаль!.."

— Бесподобно! ай спасибо! — продолжал дедушка с левой стороны, растянувшись на диване. — Так уж ты владей всем домом, живи за которой хочешь печкой, а я уж здесь и расположусь...

— Э, нет, погоди еще: ты видишь, что в доме еще и печей нет.

— В самом деле, печей нет, как же это забыли печи выложить?

— Без печей нельзя... зима настанет, замерзнешь.

— Нельзя, нельзя; да скоро ли их сложат?

Уверив, соперника, что к зиме сложат непременно, хитрый домово́й спровадил его, а сам залег на диванчик и начал потягиваться и расправлять кости.

— Нет, приятель, извини: не видать тебе как ушей этого домика, я сам в нем буду жить... Как же это я прежде об этом не подумал? Какое спокойствие, удобства какие!.. Все как по мне сделано... и зеркала какие... и все... фу, как люди-то ухитрились... Это что в засмоленных бутылках, постой-ка?..

И домовой отыскал между посудой и приборами штопор в меру, раскупорил бутылку шампанского.

— Мед!.. мед-то какой! Фу, как люди-то ухитрились!..

Буль-буль-буль... выпил всю бутылку и заморгал глазами, прилег на диван и заснул.

А между тем и барин, построив не дом, а игрушечку, тотчас же, по современному обычаю строителей, заложил его. Поутру пришли за ним и понесли на носилках к заимодавцу.

В полночь очнулся домовой. Что за стук такой? что за гам?

что за свет колет глаза? Взглянул — и ужаснулся.

Народу тьма, музыка гудит; какие-то пестрые шуты и шутихи шаркают, ходят, кривляются, кричат, бормочут что-то не порусски —

страшный содом! От яркого света потемнело в глазах у домового, запрятал голову в подушку, свернулся клубком, лежит — чуть дышит.

Так прошло несколько дней. Измучился: ни дня, ни ночи покою. И днем свет, и ночью свет. Но наконец выдалась одна темная ночка; прислушался — кругом все тихо; присмотрелся — никого нет. Вылез из домика, побрел на цыпочках по комнатам... искать печки. Ходил-ходил — нет печки в целом доме.

"О-хо-хо! Куда это я попал!.." — подумал дедушка.

Вдруг почуял он запах печки, откуда-то несет теплом. Глядь — труба.

— Что за чудеса такие? Бывало, трубы проводят наружу, а теперь внутрь.

Влез в трубу, полз-полз, смотрит — печь, преогромная печь посреди сырого подвала.

Что было делать? Погрустил-погрустил, подумал: "Не рыть было другому ямы, сам в нее попадешь", да и прилег, с горем, в печурке привилегированной амосовской печи.

IX

Между тем, помните, Порфирий, всплыв на Сашеньку, ушел нанимать квартиру, нанял и переехал.

Дня три дулся он и не хотел показываться невесте на глаза.

Наконец не выдержал: грустно стало, отправился к ней, подошел к дому и ужаснулся. И его дом, и дом Сашеньки стояли уже без крыш, огорожены по улице общим забором.

— Братцы, — спросил он у плотников, пробравшись по наваленному лесу на двор, — не знаете ли, куда переехала из этого дома барышня?

— Барышня? А кто ж ее знает, — отвечал один плотник, потачивая свой топор на камне.

— У кого б узнать?

— А у кого ж узнать? Кто знает? а?

— А кто ж ее знает, разве у соседей спросить, — отвечали прочие.

У Порфирия облилось сердце кровью. Долго ходил он около дома, добивался у соседей, куда переехала Сашенька: никто не знает. По-

шел вдоль по улице, выспрашивает у ворот каждого дома: не переехала ли сюда такая-то барышня? Нет, не переезжала.

Обошел все переулки — ни слуху ни духу.

В отчаянии Порфирий. День прошел, другой прошел — ищет, а следа нет. Избегал всю Москву; дворники гоняют его из края в край своими догадками.

— Барышня? молоденькая? Так! У нее женщина? Ну так, переезжала, да не понравилась квартира, так она вчера съехала на Разгуляй... как раз против бань.

Порфирий бежит на Разгуляй.

— Барышня? вчера? Переехала.

— Где же она тут живет?

— А вот ступайте за мной.

И угодливый дворник ведет Порфирия в мезонин, постучал в дверь.

— Кто там? — раздался голос.

Порфирий вздрогнул.

— Вас спрашивают, — крикнул дворник.

Дверь отворилась, вышла девушка, взглянула на Порфирия с улыбкой довольствия.

— Пожалуйте!

Порфирий, вообразив, что нашел Сашень-

ку, бросился в двери.

— Здесь Александра Васильевна? — спросил он, смутясь, у вышедшей из другой комнаты женщины.

— Александра Васильевна? Не знаю, жила, может быть, а теперь мы здесь живем... Пожалуйста, садитесь, прошу быть знакомым.

— Извините, — сказал Порфирий, — я тороплюсь...

И он выбежал из мезонина с тяжким вздохом обманутой надежды.

"Куда ж я пойду теперь?.. Где я ее найду?.." — думал Порфирий, повесив голову, в совершенном отчаянии, и шел бессознательно к бывшему своему дому.

Взглянув на новый дом, который стоял уже на месте двух стареньких, Порфирий вздрогнул, прислонился напротив его к забору и стоит как опьянелый.

— Не придет ли и Сашенька взглянуть на бывшее свое пепелище?

Но уже смеркалось, а ее нет.

— Ах, барин, барин, что с вами сделалось? — говорит ему Семен, качая головой.

— Ищи ее, Семен, — отвечает ему Порфи-

рий и идет снова на поиск, справляется по спискам жителей в частях: в списках нет.

Походит-походит и снова придет к дому: не придет ли и Сашенька взглянуть, что случилось с ее домиком!

Однажды, прислонясь к забору, Порфирий закрыл лицо и стоял как над могилой. Вдруг раздался подле него громкий голос:

— Порфирий! Порфирий!

Он оглянулся, Сашенька бросилась ему на шею.

— Ах, счастье! — вскричал Порфирий, обнимая ее. — Теперь ни шагу от меня!

— Ах, несчастье! — проговорила, рыдая, Сашенька.

— Что с тобой? что это значит?

— Я погибла! я замужем!

Порфирий помертвел.

— Я думала, что ты забыл, оставил меня, и вышла с горя замуж.

Сашенька залилась горькими слезами.

Порфирий стоял безмолвно, смотрел в землю.

— Барышня, барышня, Александра Васильевна, матушка, пойдемте, беда будет! —

сказала испуганная няня Сашеньки, приблизясь и узнав Порфирия.

— Порфирий! — повторяла Сашенька, приклонясь на грудь его.

— Сударыня, люди идут! — крикнула няня, схватив за руку Сашеньку.

— Порфирий! Прощай! — проговорила Сашенька.

Няня увлекла ее. Порфирий замер.

Х

Спустя несколько месяцев известный уже снам барин, нанимавший дом, составившийся из двух старых, сидел однажды, по обычаю, против окна, с трубкой и стаканом чаю.

В эту минуту он смотрел во внутренность себя, но глаза его были устремлены на улицу. Казалось, что он рассматривает архитектуру дома и забора, обонпол[4] улицы.

Барин был бизорук, и потому все проходящие казались ему движущимися пятнами. Но вот несколько уже дней сряду обратило его внимание постоянное пятно против забору, которое двигалось на одном месте.

Это его побеспокоило: "Это уже не наружный предмет, это, должно быть, что-нибудь в глазу", — думал он.

Кстати, приехал Федор Данилович.

— Федор Данилович, посмотрите-ко, не бельмо ли у меня в глазу?

— А что?

— Да вот, в комнате ничего, а как посмотрю на свет, против чего-нибудь белого, тотчас

является огромное пятно, потом пройдет, потом опять явится.

— Глаз чист, никакого бельма нет.

— Не понимаю!.. Вот против забора опять пятно.

Федор Данилович взглянул на улицу.

— О! Понимаю!.. Так это-то у вас как бельмо в глазу! Славное бельмо.

— Что такое?

— Бесподобное! Дайте-ка лорнет... чудо!..

— Что такое?

— Прелесть!..

— Что такое? — вскричал барин, схватив лорнет из рук Федора Даниловича и также смотря на улицу. — Ах, скажите пожалуйста!.. молоденькая женщина!

— Не сводит глаз с окна! Bravo!.. Поздравляю!.. Ну, сглазили, ушла!

— Право, я ничего не знаю, — сказал барин, — ушла!

— Верно, придет опять... Прощайте, желаю успеха.

— Куда?

— Мне надо ехать. А где же дом? — спросил вдруг Федор Данилович, приостановясь в

зале.

— В закладе.

— Вот тебе раз!

— Будет: и вот тебе два, три, четыре и т. д. благо есть теперь что закладывать.

Федор Данилович уехал. Барин сел у окна, вооружился лупой, смотрит на белый забор, как астроном на небо в ожидании прохождения нового светила.

— Вот она! — вскричал барин, вскочив с места. — Эй! Васька, Петр! Одеваться.

Оделся и на улицу, прямо к забору, где стояла незнакомка.

"Она еще тут", — думает барин, прищурившись и подходя к забору. — Что ж это такое? — спросил он сам себя, всматриваясь в лорнет.

Он подошел еще ближе, смотрит: перед ним молодой человек и молоденькая женщина в черном платье стоят как прикованные друг к другу объятием; казалось, поцелуй радостной встречи спаял их уста навек.

— А-а-а! — проговорил барин почти над их ухом.

Они очнулись и с испугом взглянули на ба-

рина.

— Ничего, ничего, не пугайтесь, — сказал он, — я только посмотрел, не бельмо ли у меня в глазу.

— Порфирий, пойдем скорей, — проговорила молоденькая женщина, взяв за руку молодого человека, который совершенно обеспамятел, — пойдем, Порфирий!

И они скорыми шагами удалились.

— А-а-а! — повторил барин, — это очень мило.

(1850)

Примечания

С. 381. Сорочины — поминки на сороковой день после смерти.

"Чурова долина, или Сон наяву" — опера А. Н. Верстовского.

С. 399. Павел Воинович — Нащокин (1801 — 1854) — близкий друг А. С. Пушкина, отставной поручик; в московском доме Нащокина Пушкин останавливался в 1830-е гг., в свои приезды в Москву.

С. 400. Присутствовавший тут же поэт — А. С. Пушкин; далее следует его стихотворение "Веселый пир" (1819), опубликованное впервые в альманахе «Мнемозина» (1824).

С. 405. Опекунский совет — в дореволюционной России учреждение, ведавшее управлением воспитательных (сиротских) домов и имевшее право заниматься кредитными операциями.

С. 406. ...подушку, шитую синелью по буфмуслину. — Синель — бархатный шнур, махровая нить. Буфмуслин — сорт ткани, отличавшейся особой тонкостью, которая производилась в городе Мосула (Малая Азия).

С. 407. Амосовская печь — отопительное устройство, по которому тепло передается гретым воздухом; названо по имени изобретателя Н. А. Аммосова (1787 — 1868) — офицера-артиллера.

Note1

растабарывает, болтает. — Примеч. автора.

[^^^]

Note2

Ну и забавная же работа! (нем.)

[^^^]

Note3

Паркетный. — Примеч. автора.

[^^^]

Note4

Противоположную сторону. — Примеч. автора.

[^^^]